



Я ХОЧУ БЫТЬ СОБАКОЙ

Василий Васильевич Кильяков родился в 1960 году в Кирове. После окончания Московского политехникума работал мастером на заводе, служил в армии. Окончил Литературный институт имени А.М.Горького. Публиковался в журналах «Новый мир», «Наш современник», «Юность», «Октябрь», «Литературная учёба», «Подъём» и др. Член Союза писателей России. Лауреат Всероссийской литературной премии «Традиция», литературной премии и.м.Б.Полевого, премии «Умное сердце» и.м. А.Платонова, премии «Дойче Велле» (Берлин) и др. Обладатель «Бронзового Витязя» (2019) Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь». Живёт в городе Электро-сталь Московской области.

Война вошла в наш дом после победы и примирения в Чечне. Я, пятнадцатилетняя девочка, повзрослела за один день...

Мы жили тогда в районном центре, в военном городке, одном из тех городков, которых много понастроили в стране, но не достроили, бросили, «не довели до ума», как говорит моя мама. В таких городках нельзя чувствовать себя уютно. Это ППЖ, походно-полевая жизнь. Мама часто так повторяла, а уж она-то знает, что говорит. Слова мамы оправдала и сама жизнь; сколько подруг я поменяла за несколько лет: та переехала в Сибирь, эта — на юг. Квартиры, в которых они жили, заселяются другими. Лучшая подруга уезжает из-за перевода отца в другой гарнизон. И я опять остаюсь в одиночестве. Сначала казалось, что такие расставания и есть самое плохое в жизни, что хуже и быть не может...

Но только казалось, пока не случилось то, о чём я здесь рассказываю.

— Ну что ты хочешь, мы живем в казённом доме, в казённой квартире, — отвечает мне мама. Когда мы все втроём прибыли в этот городок, подошли к подъезду с сумками и дипломатами, мама остановилась у дверей подъезда. Присела на скамейку, как-то сжалась вся и заплакала в ладошки.

— Папа твой — неудачник, — сказала она мне сквозь слёзы. — А главное, есть кем воспользоваться в штабе. Но он же ни в какую. Он же характер, он же Личность. А мы так себе. У него душа, а у нас — клюшка. Но отдуваемся все мы вместе...

И мне так жалко стало маму и непонятно, почему так? Почему и впрямь не попросить мамино брата и моего дядю Юрия Николаевича. Он бы точно помог, обязательно. Он всегда такой надутый, всё может. Он же предупреждал папу: «Из Москвы дорога широкая, а в Москву — узенькая тропочка. Не всякий сумеет вернуться». Но папа очень упрямый, это правда. Иногда он назло маме включал песню Трофима: «Мои друзья — начальники, а мне не повезло, который год скитаюсь с автоматом... Такое вот суровое мужское ремесло, аты-баты...»

...Вот и эта Чечня... Ну кто его туда тащил? За рукав, что ли?

«Уж кого-кого, а лётчиков там хватает. Сам президент полетал над этой страшной дырой и не был от неё в восторге. Ну, скажи ему хоть ты, доченька, ведь он любит тебя, и вы всегда понимали

друг друга, скажи: ну какой чёрт понёс твоего отца именно туда, вот туда именно? И вот мы опять мыкаемся одни в казённом городке, в казённой квартире, в которой отключают то свет, то воду. Без средств, без денег, без надежды на счастье... А ведь я ещё не старуха, правда? Нет, я не женщина, я походно-полевая жена. ППЖ. Ну поговори же с ним, если ему не жаль меня, может быть, он хоть тебя пожалеет?»

...Что правда, то правда. Мама не старуха. Она очень красивая, только немного нервная и быстро седеет. И казённые дома наши в городке, конечно, не загляденье. Их давно не ремонтировали, жёлтая шпаклёвка краски отваливается кусками, обнажает красный слоёный кирпич. Это неприятно и больно видеть, — будто с них стягивают и обрезают кожу, выставляя напоказ голое мясо стены. Бр-р-р, «это что-то с чем-то», как теперь говорят у нас в классе...

Нам ещё повезло: мы живём в пятиэтажке, на третьем, близко к водонапорной башне, которая торчит из земли, как огромная граната на ручке... Ручка этой гранаты круглая, красного битого кирпича. А сверху огромный бак-набалдашник. А вдали от проходной, подальше вглубь городка сохранились ещё приземистые домики в два-три этажа, где часто не бывает даже воды и где каждый год налаживают деревянные тротуары, чтобы прохожие не утонули в грязи. Там, недалеко

от центра, крытый рынок, большое движение по выходным дням. А за ним пустырь... Возле пустыря недавно выстроенная белая церковь, её строили солдаты... Вот и все наши достопримечательности.

А на пустыре, среди яблоневого сада — домик метеорологов. Иногда они пускают в небо воздушные шары, измеряют какие-то потоки и температуру. И когда я смотрю, как взлетает шар, я всегда вспоминаю о папе. В последние месяцы от него нет никакой весточки... А маме — хоть бы что!

В последнее время рынок и привокзальная площадь пестры от товаров. Наташили китайской электроники, игрушек, одежды...

— «Рай для нищих и шутов... Мы ж как птицы в клетке», — напевает полусхрипавшая мама. Она почти тащит меня, походя, увлекая с усилием мимо лотков, чтобы я чего-нибудь не попросила купить. Зря она так, я же всё-всё понимаю. И давно уже не прошу ничего. Знаю, что денег нет, а раздражать маму не хочется. Иногда я тайком вздыхаю, когда вижу на ней красивую блузку или серёжки.

Я бегаю на рынок без мамы. Просто так, поглазеть. Хитрый кавказец за лотком подмигивает мне с пониманием:

— Что, дочка, ни евриков, ни баксов? Рубли давай, за рубли продам. — И смеётся.

— Эта никогда ничего не берёт. Пустая. Пустая как барабан.

— А вы откуда? — спрашиваю я их. — Откуда приехали?

— Кизляр, слышала такой город? Хороший город. Чёрную икру ложками там едят...

— Это Чечня?

— Нэт, зачем Чечня, Дагестан. А дыни, арбузы какие! Половина сахар, половина мёд... А Ичкерия близко там, да...

— А почему же вы торгуете, а мой папа воюет за вас?

— Слушай, дочка, иди, иди, не мешай... Ты своим криком всех покупателей распугаешь... Какой война-майна, зачем стрелять, танки-манки. Живи, радуйся, продавай-покупай, да? Или я неправильно говорю?

Вот так. «Распугаешь». Они рядом, а не воюют. Мой отец за тысячи вёрст уехал воевать за чужую землю. Как в песне: «Зачем нам, поручик, чужая земля». Так часто русские воевали и воюют за чужие интересы. И непонятно мне до сих пор, то ли послали его, то ли сам он уехал. Чтобы на время дать «отдохнуть маме» и самому заработать на её лечение, а если повезёт, то и квартиру поменять. Мама не объясняет мне секреты взрослых.

Пустырь становится меньше день ото дня, вернувшиеся офицеры-фронтовики вскапывают его и сажают картошку. Целое картофельное поле — с холма оно заплатами. Интересно было бы посмотреть на всё это с высоты воздушного шара-метеоролога...

...И вот вспоминается мне одно майское утро, воскресное. Я крепко спала, а мама будила меня ласково и настойчиво:

— Да проснись же ты, котёнок. Проснись, наконец, дочка! Ну, что с тобой делать?

Я открыла глаза и сладко потянулась. В комнате было свежо и светло. На кровать, во всю её ширину, наискось, лёг прямоугольник света от солнечного окна. Солнце, какое солнце! Как я соскучилась по солнцу! А мама теребила, щекотала меня и смеялась, — совсем как девочка. И одета она была необычно, по-праздничному. На ней узкое платье со сборками по талии, в ушах серёжки большие и светлые, против солнца — изумительно хороши, папин подарок. На ногах туфли-лодочки. И всё это: и мама, радостная и растрёпанная, и запахнутое окно, и букет свежей, ещё влажной сирени на столе — всё это было так необычно, так празднично!

— Что? Что случилось, мама, — я прикинулась на всякий случай рассерженной. Я вообще-то люблю поспать.

— Одевайся, дочка. Мы идём встречать папу.

— Папу, с войны?

— Глупенькая, читай-ка вот...

Беру из маминых рук телеграмму, буквы пляшут и рассыпаются бисером, какие-то сложные номера, номера, и вдруг отчётливо, хоть и с пропусками: «Встречай пятнадцатого, девять ноль. Саша».

Прочитала — и онемела, вскочила, кинулась к маме, потом к окну, распахнула окно, и, как

беременные, пузато и мягко ветром поднялся тюль, и мы закружились по комнате, потом, задышавшись, вместе повалились на подушки: «Мама, мама, мамочка! Постой, да погоди же... Тут телеграмма — она что, вчера пришла? И ты мне ничего-ничего не говорила? Как же ты смогла? Как ты стерпела, мама?»

— Глупенькая. Котёнок, ну ведь это же подарок...

Подарок. Конечно, подарок. И ещё какой... Я думала, моё сердце выскочит от счастья и упадёт, как синичка, ударившись о стекло... А я подниму его, положу в нашу корзиночку из-под цветов, ну ту, с высокой ручкой, что купили давно-давно, и я украшу первыми цветами, жёлтыми одуванчиками и белыми ландышами — и отнесу его папе. Господи, вот моё сердце... Папа... Папочка...

И на улице в тот день была прелесть, что за погода. Свежо с утра, но ярко. Вставало солнце, бодрое от холода. И я была словно пронизана этим солнечным холодным светом, я сама была и лёгкость, и свежесть. Мы шли, не чувствуя ног, порой переходили на бег, и тогда мамины каблучки стучали ещё звонче и поторапливали нас.

Я помню, как мама всё подошла к окошечку кассы, стучала монеткой и спрашивала дежурную, когда придёт поезд, и показывала телеграмму. Но поезд из Ростова задерживался, и вместо него подошёл мимолётный, скорый, затопил

И не успела я опомниться, как мы опять почти бежали, и я старалась, зацепившись взглядом, не отпустить им мамино сиреневое платье, с которого не спускала глаз, чтобы не потеряться вовсе за поворотами и изгибами сводчатых залов...

— Зачем ты так, — сказала я маме. — Может быть, он тоже воевал, как наш папа...

Но мама, не дав договорить, так дернула меня за руку, что я чуть не споткнулась, чуть не полетела со ступенек. Верно, она что-то узнала у дежурной. Отчего-то у неё тотчас переменялось настроение.

— Молчи лучше, Наташка, — сказала она в сердцах, — а то накличешь беду.

Потом в ожидании поезда мы сидели в скверике при вокзале и завтракали, чутко прислушиваясь к гутнявому громкоговорителю. Всякий раз, когда он начинал объявлять что-то, слышался сначала свист, потом две-три ноты музыки, мелодии, похожей на дверной звонок в квартиру: «Ка-пи-тан, ка-пи-тан...». Потом шипение и треск. И только затем можно было едва-едва по отдельным словам догадаться, о чём он хотел донести. Я старалась не допекать маму вопросами, она и так извлеклась от переживаний, а мама, наверное, думала, что я обижаюсь на неё, и тоже молчала.

Когда из-за поворота железной дороги показался опаздывающий скорый «Ростов — Владивосток»,

я вскочила и бросилась вперёд. Мама за мной. По пути я споткнулась о какую-то цыганскую укладку и чуть опять не полетела вверх тормашками. Но мама ловко подхватила меня под руку. Народу вышло мало.

— Он... — мама встала и вытянулась. «Как сеттер на охоте», — почему-то пришло мне в голову. — Он, Наташа, это он, — как-то вдруг растерявшись и уронив от висков руки, сказала мама. — Он не один...

Я тоже то и дело тянулась на цыпочки, норовила разглядеть что-нибудь через головы выходящих из вагонов. Мама сорвалась с места и бегом бросилась в ту сторону, откуда молодая незнакомая женщина в белом халате выводила под руку офицера в пятнистой голубой полевой форме и берцах. Один рукав у него был заправлен под ремень. Шёл он неуверенно, как-то слишком прямо и как бы вглядываясь и ища что-то поверх голов так, словно в эту минуту он видел что-то важное, видимое ему одному и невидимое другим.

— Саша! — крикнула мама и закусила кулак, чтобы не разрыдаться. — Саша, — повторила она шёпотом.

Офицер остановился вполоборота к нам. Я видела только его плечи да пустой рукав и лоб с лилово-синим глянцем зажившего ожога. Мама подбежала и остановилась в двух шагах от него. Он забеспокоился, ещё сильнее удерживая плечо провожавшей его

санитарки, так что ей стало больно, а мама смотрела на офицера, не моргая. Потом губы её крепко сжались, задрожали, и две быстрые слезинки упали одна за другой. Я смотрела на маму и ничего не могла понять. Я понимала только одно, что всё это долгое время, пока отец воевал, она многое от меня скрывала... Руки повисли плетью, и сердце колотилось.

Слёзы прокатились у неё до подбородка, и она кинулась отцу на грудь и заплакала так громко, навзрыд. Папа — это был он — обнял её и прижал. А я — я уже настолько забыла, как он выглядит, что стояла совсем растерянно.

— Наташа, ну что же ты стоишь, подойди к отцу, — крикнула мама ему в плечо.

Поезд скрипнул и тронулся. Санитарка хлопнула на ходу железным фартуком, взошла и сразу выросла над всеми нами, над толпой.

— Ну вот и ладно, вот и хорошо. Счастливо оставаться!

— А Наташа, где же Наташа? — волнуясь, позвал отец.

— Папочка, я тут, я же здесь, — с рёвом отозвалась я, уже понимая, что он не видит меня и ничего-ничего не видит, я разревелась, как дура, глядя на маму, зарывшись лицом в его камуфляж.

Папу было трудно узнать. Лицо было обожжено так, что я старалась не смотреть. Он как будто улыбался застывшей от ожога улыбкой. И не смотрели

глаза. Они были закрыты чёрно-зеркальными очками. Я видела в них своё отражение и, едва-едва дальше, его глазницы, которые казались мне глубокими и пустыми. Я пристально глядела на него и время от времени, стараясь не всхлипывать, так чтобы не слышал он, — беззвучно плакала. Он гладил меня по голове и молчал.

— Ну и рёва! — сказала мама, когда мы шли домой. Прохожие оборачивались на нас. Я крепко держала отца за ладонь. Незнакомая старушка в чёрном чепце, приколотом брошью к седым волосам, похожая на престарелую учительницу, остановилась перед нами, оперлась грудью на палку и проговорила-пропела во весь голос:

— Горе-то какое, Мать-Царица небесная!

Но мама так глянула на неё, что старушка спохватилась и зачастила своей дорогой дальше.

Дома я усадила папу на диван. Он попросил сигарету и жадно закурил.

— Вот сразу и зажжёт. Да мимо, мимо... Дом-то не спали, — сказала мать. — Дай-ка я тебе прикурю, герой-инвалид ты мой. Дорогой.

Он кашлял и курил, курил и кашлял. Держал руку на отлёте, пепел сыпался на ковёр, и он, как бы чувствуя, спешил курить, чтобы накуриться.

— В госпитале-то не давали курить? — догадалась мама. — Отнимали сигареты, гоняли? Табак — плохой помощник больному.

Отец молчал. Только фильтр зажёвывал, видно, привык к папиросам. Сигарета дрожала, и он взял её так: между большим пальцем и указательным, зажав надобие дула от пистолета.

— Что за марка — такие слабые? — спросил он.

— Сигаруни. Армянские. Женские.

— Ты куришь? — спросил он.
— И давно?

И спохватился:

— Ну, как вы жили без меня, Наташа, Лидочка?

— Куришь... Хорошо, что не запыла... Живём ничего, хорошо живём. Что всем, то и нам. Я часто в церковь хожу, молюсь за тебя.

— Папочка, а я иногда помогаю, подпеваю на клиресе. Бегала помогать в соседнем госпитале, знаешь, у парка?

— Вот видишь, Лидочка, какая молодец дочурка у нас, — сразу повеселел он.

— А нельзя ли, ты меня прости, конечно, Саша... Нельзя ли восстановить зрение, хотя бы частично? Это что — окончательный и бесповоротный диагноз?

Она стояла против него, опершись локтями о спинку стула, пристально глядя сквозь полупрозрачные очки.

— Нет, Лида, меня полгода лечили лучшие врачи. Сначала в стационаре, в эвакогоспитале, в клинике... Нет, нельзя.

Папа стал затягиваться, но сигарета уже погасла, догорев

до самого фильтра. Он ожёгся и бросил. Мать поспешно подняла окурки и остудила, включив кран над умывальником.

— Ну почему, почему это именно нам, мне? Почему ты не уберёгся, почему ты не писал? За что мне это, боже мой, за что? Разве мало других? Ну чем они-то лучше меня? Почему другие счастливы...

— Мама! — громко сказала я.

— Да, да, Наташенька... Я сейчас. Извини. Это я так, разволновалась, детка...

Мама поспешно растирала слёзы, тушь для ресниц потекла, и она казалась такой жалкой, такой несправедливо обиженной, и я вспомнила, как тщательно и озорно она собиралась на вокзал, наводила ресницы.

— Не ссорьтесь, милые. Ради встречи, не ссорьтесь. Лидочка, я всё тебе расскажу. Потом. Обязательно расскажу. Скажите лучше, как тут, тяжело ли с работой? У Наташеньки все косточки слышны под платьицем, как у цыплёнка. Хватало ли денег на жизнь?

— Хватало! — с каким-то убийственным спокойствием, стараясь казаться невозмутимой, сказала мама. — Буханка хлеба — сорок рубликов, хочешь бери, хочешь так уходи. Проезд на такси — двести. Да... хватало. С большой натяжкой. Сапоги ей осенние — десять тыщ... Хватает... А самой как быть? Хожу в старых. Наташка растёт. Там откусит, здесь

отломит... Так, где щипком да где хватком, и кормимся. На подружавном хлебе не растолстеешь. Не о нарядах уж речь. Обучение с этого года — платное...

— Мама, мне ничего не надо, у меня всё есть!

— Конечно, есть. Тебе всё падает с неба...

— Мама!

— Помолчи, — попросил меня отец и неласково, до боли, сжал мне крепко пальцы.

А я нарочно громко сказала «всё есть». У меня теперь действительно было всё: со мной рядом сидел отец. Мой отец, которого я так долго-долго ждала. Теперь-то я понимала, что скрывала от меня мама. Мы часто с ней спорили, но обиды я на неё никогда не держала.

До Чечни папа мотался по командировкам, часто летал, а когда возвращался, привозил подарки: обновы, игрушки — и всегда нас мирил... «Перестаньте ссориться!» — говорил он, бывало. Щекотал меня и шутил: «Ну и обстановочка у вас, обе надутые... Каблуками застучу и на «Миге» улечу». Он принимался щекотать меня, я смеялась — и всю обиду как рукой сминало.

— Ах, она вся в тебя, вся в тебя, такая же упрямая! — упрекала мама. — Ни дать ни взять папина дочка.

...Внезапно затрещал звонок, резкий, как размагиваемая железная цепь. К нам пришли соседи со своими угощениями и вином. Мамина подруга, тётя

Тоня, жена погибшего лётчика, папиного товарища, принесла в кастрюле суп из курицы. Когда уселись за стол, взрослые выпили какого-то вина с запахом гнилых яблок. Я уписывала за обе щёки картошку и время от времени поднимала взгляд на папу. Он черпал ложкой суп: не ел, а только купал ложку. Когда внезапно затрещал под его рукой мамин мобильный телефон с виброзвоном, от неожиданности он вздрогнул и опрокинул локтем маленькую хрустальную рюмочку, та, тонко пискнув, прокатилась по скатерти и хлопнулась об пол.

— Ах, Саша, Саша, ну что с тобой делать? — вырвалось у мамы.

Я пересела на противоположную сторону, к папе, стала кормить его с ложечки. Он послушно открывал рот, как маленький ребёнок. Положил ко мне на плечо руку, горячую и тяжёлую... Родную.

Соседи побыли недолго: закусили, поговорили — и разошлись, а мы сидели допоздна. Папа рассказал маме и тёте Тоне о том, как он спасся, едва не погиб. Как был сбит на «вертушке», над «зелёной» чеченцами — «Иглой». Он отстреливался, но был ослеплён взорвавшимся баком. Он успел закрыть глаза руками, но обожгло и руки.

Тётя Тоня говорила маме:

— А ты не больно переживай. Я вот про себя скажу. Я как получила пенсию на мужа, посчитала, прослезилась и пошла работать на завод. И отлично стояла

у станка, затем в горячий цех, на гальванику. Потом расписывала кружки глазурью. И деньги хоть какие-нибудь, и с людьми всегда, отвлекаешься, Лида, и оно всё же легче. И ничего, жива-здоровая, даже туфли новые справила. Купила микроволновку и DVD. И тебя, Лида, хочу пригласить в наш цех. Приходи, не заметишь, как привыкнешь.

— А знаешь, — сказала мама, — мне сегодня утром вдруг показалось, что Сашок и вовсе не придет, что-то случилось, и он не возвратится. Я думала, с поездом что-то... Или под поезд попал. Сам, случайно. Вышел покурить на перрон, и загатило под колёса.

— Наташенька, — с хрипотцой позвал отец, — принеси спички, дочка...

Он встал, хотел выйти на балкон или на кухню, стул загремел под ним.

— Да кури уж здесь, ей-богу. Мы выйдем, а ты себе дыми...

— Вот увидишь, всё будет хорошо, — сказала я ему на ухо шёпотом.

— Трудновато будет, дочка. Я теперь без крыльев... Так хочется тебя увидеть, хоть впорглаза взглянуть.

— Я всё такая же егоза, как ты говорил раньше. Конопатая, но уже взрослая. Скоро самостоятельно пойду в жизнь.

— Знаешь что, пойдём гулять?

— Конечно, пойдём. Мы пойдём в лес к нашему грибному месту, помнишь? Когда мы нашли это место, мы дудели в купыри.

Помнишь, ты вырезал две дудки из купыря?

— Ты тогда сильно наколола ногу и всё крепилась, чтобы не зареветь.

— А ты разорвал майку и перевязал мне ступню. А потом тащил меня на спине и щекотал, чтобы я не плакала. А всё же хорошо так было.

Я налила ещё вина в рюмки, а в свою — морс, и мы подняли тост.

— За счастье, папочка!

— За тебя, дочка... И за маму, за вас, мои дорогие. За то, чтобы жизнь у нас, да и у всех людей поскорее наладилась. А она наладится, верно?

— Конечно. — Я поцеловала его в щёку и вышла на кухню, чтобы подлить в тарелку суп. Помню ещё, я что-то напевала, и то, что я услышала, вонзилось в сердце острым ножом.

— Что же ты теперь делать думаешь, Лида?

— Ах, боже мой, если б я знала, что ты всё время спрашиваешь? Что от него теперь, копеечная пенсия? Комиссуют — и сгонят с жилья. Но только в цех твой, конечно же, я не пойду. Я всё забыла: и чему учили, и что умела. Боюсь, не смогу работать с тобой, с моим больным сердцем...

— Вот горе горькое, а ведь как жили до развала Союза...

— До этого чёртова капитализма на всё хватало. Будь они прокляты, эти «подписанты»... олигархи, рыжие, обрюзгшие...

— И ещё как хватало! И на

развлечения с этим, как его... с Лёвочкой? Газиевым? Не так, что ли?

— Тс-с. Ты с ума сошла, Тоня... Забудь ты всё. Ох, язык твой. Что знают двое — то знают все...

— Эх, Лида, Лида... Не большое у тебя сердце, и не болело никогда, не притворяйся...

Тарелка выпала из моих рук. Шкаф со всеми кастрюлями, мисками и бокалами качнулся перед лицом. Я выбежала из дома. Я побежала сама не знаю куда, только бы подальше от этой лжи, притворства, обмана...

Голова казалась холодной как лёд, и не было ни одной мысли. Всё мое знание о жизни, которое я собирала свои пятнадцать лет, разом рухнуло, и не осталось ничего, ничего... Как жить, кому верить? Выбившись из сил, я шла наугад, каким-то кустарником, среди репьев, вдоль серого и чёрного от дождя забора с гвоздями, потом оврагом, незнакомым бездорожьем через густую траву... Потом легла измученная, оглушённая. Лес чертополоха стоял до неба надо мной.

Встала, когда уже смеркалось, упала роса на траву. Меня знобило. Пошёл дождь, ноги саднило. Колени я где-то разбила и исцарапала, изожгла крапивой... Хотелось рыдать, но не было сил. И не хотелось домой. Я прордалась сквозь орешник и осины в тумане, лежащем слоистым дымом над тропой. Лучше было бы заблудиться. Я поскользнулась и упала, чуть не вывихнула ногу,

а когда поднялась, увидела на взгорке блестящие огни воинской части. Так, хромая, я и взбиралась по ступенькам. Оттуда на дежурной машине меня отвезли домой.

— Как ты меня напугала, дерзкая девчонка! — кричала мама. — Что с тобой делать, вот несносный характер, — и уже обращаясь к папе: — Ну, что я говорила? И впрямь твоя дочь — ни дать ни взять...

— Что случилось? — спросил отец, стараясь казаться спокойным. — Почему ты убежала из дома? Мать разыскивает, волнуется, что всё это значит, наконец?

— Волнуется? — крикнула я. — А ты спроси: нужны мы ей?

И разрыдалась. Мама, подозревая что-то, пыталась напоить меня вонючей валерьянкой...

— А это значит, это значит... — я всё размазывала по лицу слёзы.

— Ложись спать. Сейчас же. — Мама хлопнула дверь, чтобы я не сказала лишнего. — На тебе лица нет.

Они ушли в свою комнату, а я поспешно, как бы спасаясь от погоны, разделась, легла и укуталась в одеяло. И долго ещё слышала, как мама говорила глухо, как в бочку: «Гу-гу-гу».

Вижу я: летим мы с папой на самолёте. Внизу причудливые очертания земли и ослепительно-зеркальный блеск озёр. Вверху — бездонное голубое небо. Папа плавно тянет на себя ручку — руль высоты, и земля пропадает, уходит куда-то вниз, и мы

поднимаемся всё стремительней. Небо хмурится. Слева и справа появляются ленивые, крутобокие облака, которые образуют очертания каких-то страшных, ужасных чудовищ. Но тут на огромной скорости мы влетаем в совершенную черноту тучи, грозовая туча словно затаила удар. Только рёв мотора, пустота, и вдруг — неожиданно яркая вспышка ослепила меня, ударил гром, и, резко вскочив, я закричала: «Папа!»...

— Ну вот, и эта кричит во сне, о, боже, боже...

— Что с тобой, Наташа? — наклонился надо мной отец, осторожно трогая ладоншкой мой лоб. На руке у него висело мокрое полотенце, голова тоже была мокра от компресса.

— Нет, это сумасшедший дом, честное слово, — чиркая зажигалкой, громко сказала мама. — Две капли воды... О, горе, горе...

Папу я увидела на кухне за завтраком. На нём была белая шелковая рубашка под тёмно-лиловым галстуком, тёмно-синие брюки и военные ботинки. Он сидел молча и прямо, и рукав пустой рубашки был заправлен за ремень. Мы поздоровались, но завтракать я не стала. И всю дорогу в школу мне было тяжело, я словно что-то предчувствовала, а в ушах не смолкал безнадежно-отчаянный голос мамы: «О, горе, горе...»

В школе, как обычно, было шумно илюдно. Я тотчас слилась с толпой, затерялась в ней,

стала похожа на всех остальных, знакомых и незнакомых. Стало как будто легче, словно и вся моя тревога тоже затерялась и слилась с общими радостями и заботами, тревогами — и растворилась в них.

В конце большой перемены я заметила девочку-мальшку. Она стояла в стороне у лестницы в столовую, стояла и беззвучно плакала: прищемила палец. Я подула на пальчик, вытерла лицо платком, утешила, приласкала. От её мокрых доверчивых глаз самой хотелось разреветься. И до самого конца занятий чувство одиночества и жалости не проходило...

Предчувствия мои горькие не оправдались. Отворив дверь квартиры, я поразились мирной тишине: было тихо. Крутили циферблатом, тикали едва слышно китайские часы... Тишина была мягкая, ватная, как в библиотеке. Папа стоял у открытого окна, а мама сидела на диванчике в углу и чинила моё платье.

Изо всех сил я старалась казаться весёлой и радостной. Я громко шепнула папе на ухо:

— Пойдём на рыбалку?

Он с радостью согласился, видно, ему хотелось поскорее выйти из дома.

— Только вот наживки нет, — сказал он.

— А мы — на хлеб!

Я знала, что мальчишки таскают карасей и плотву на ржаную муку и хлебную мякоть.

— А где он, хлеб-то? — скусывая нитку, спросила мама. — Завтра обменяем последние евро из заначки, закупимся, тогда и пойдёте на свою рыбалку, рыбаки!

— Мы накопаем червей, правда, папа?

Через пять минут мы уже в пути. Кривая, с детского сада знакомая тропинка причудливо вилась среди травы, огибая пни и корни самыми неожиданными зигзагами. Разнотравье блестело на солнце. Все поляны ярко горели от курослепа, душно цвёл клевер. Неподвижно в безветрии стояли зонтики тысячелистника и купырей. В лицо время от времени наносило жаром, как из печки, дышать было трудно от аромата скошенной травы... «О чём они говорили до моего прихода?» — гадала я по лицу и морщинкам отца.

— Ты веди меня, Наташа, — попросил он, — веди по траве и говори, что видишь, как бы рисуй словами. А я пойду босой и стану вспоминать знакомые места...

Папа нарочно шмыгал по траве босыми ногами. Для того чтобы отвлечь его, я старалась вовсю, трещала как сорока. Тропа резко вильнула вправо, сбегала к откосу, заросшему ивняком, и я невольно зажмурилась — так ослепительно стояла-текла река.

Подражая мальчишкам, я плевала на червя и взмахнула удилицем. Закинула поплавок неумело, булькнула удочкой. Леса спуталась и ослабла гармошкой. Скоро поплавок и вовсе

прибило к прибрежной траве. Тогда забросил папа, да так удачно, что я пришла в восторг.

— Держи поплавок в тени, — сказал он. — А если рука устанет, положи удочку прямо в осоку... Никого не видно на лугу?

— Кони пасутся...

— Кони?

— Ну да, это кони стреноженные, из Новой деревни. Вон метрах в тридцати стоит кобыла и вертит хвостом. Жеребёнок тянется к ней, а матка-дура не подпускает.

— Значит, не её жеребёнок, — проговорил папа и лёг на траву.

Вдруг поплавок закачался на трепетной ряби и разом ушёл на дно.

— Клюёт, папа, клюёт!

— Подсекай, дочка, — вскочил он.

Попалась плотвичка, ни большая, ни маленькая, но такая трогательная, оставляющая серебряную чешую на руках.

— Давай отпустим её...

Клёв прекратился. Мимо нас в городок, пугая жеребёнка, проехал начальник автопарка на «Тойоте». Потом прошли мимо два лотошника на рынок — знакомые уже дагестанцы с шаурмой и металлическим мангалом, и сразу захотелось есть. Решили идти домой, а по пути я собирала щавель, и мы с каким-то особым наслаждением жевали свежие, сочные, тёмно-зелёные перья, от которых сводило скулы и першило в горле. Я спустила с плеч платок и нащипала полный узел. «Сварим суп к

ужину, — похвалил мою задумку отец, — бери больше, увязывай ту же, будет чем мать угостить». «А стоит ли?» — вырвалось у меня. «Напрасно ты так, Наташа. Прежде чем обижаться, постарайся выслушать до конца, постарайся понять. Это очень важно. Матери тяжело, ты даже не знаешь, как... Нам теперь с черепка начинать, с жильём могут возникнуть проблемы».

И опять его рука легла на моё плечо, удивительная рука, снимающая боль и обиду...

На следующий день к нам явился парень с ясными глазами и чуть заметными усиками. Он был тоже в полевой форме, но зелёной, пятнистой.

— Кинолог! — представился он, протягивая мне руку.

— Кинолог? — засмеялась я. — Какая странная фамилия... А может, имя? Или мы будем снимать кино? Ох, уж тут и кино. Кино и немцы, точнее, чеченцы, да, мам?

Мама долгим взглядом и с подозрением стала смотреть на меня.

Он долго разговаривал с отцом, потом они ушли и вернулись только к вечеру. Так в нашей квартире появилась собака-поводырь. Это была очень умная овчарка, серо-мышинного цвета, с прогнутой как бы от старости спиной.

— Хорош подарок, при моей астме — как раз то, что надо... — мать хлопнула дверью и села за компьютер.

Говорят, животные и дети безошибочно разбираются в людях. Каким-то особым чутьём. Овчарка сразу привязалась к отцу, но почему-то недобро смотрела на мать... Может быть, поэтому, когда отец с собакой выходил на улицу, я была спокойна за них.

— Ну вот, ты и нашёл себе пару, — сказала мать, глядя в окно и недобро улыбаясь. — Теперь не пропадёшь и без нас.

Мы в школе писали сочинение на вольную тему. И, конечно, я написала о папе, о том, как он, рискуя жизнью, сажал горящую подбитую «вертушку» среди неприютных и страшных гор, под прицелом «Стрел» и «Стингеров»... И сами собой в конце сочинения сложились стихи:

*Я стояла у вокзала,
из Ростова поезд шёл,
С перевязанной рукою
ко мне папа подошёл...*

А рука не была перевязана, её не было. Вместо руки — пустой рукав.

Людмила Владимировна ничего этого не знала, она поставила недостающую запятую в четверостишье, подчеркнула её и жирным фломастером аккуратно вывела: «Хорошо».

После занятий я торопилась домой как никогда. Я едва переводила дыхание, так хотелось рассказать папе о своём сочинении, а главное — прочитать ему стихи, первые за всю жизнь стихи.

Переступив порог, я ахнула. В квартире всё было перевернуто. Такой раскардаш-кавардак я ещё не видела. Всё было вывалено из ящиков мебельной стенки, перевернуто и накидано. Из бельевого шкафа, из письменного стола. Платья, носки, старые тетрадки — всё лежало как попало на полу, на кровати. Стоял пустой чемодан, в котором жалко смотрелась старая отцовская пиджачная пара.

Мама в узкой юбочке, сидя на корточках, с невозмутимым видом складывала книги на локоть, как складывают поленья для топки печи.

— Мама, что здесь было? — изумилась я и села, сразу обессилев.
— Воры? Обыск?

— Папа ушёл от нас...

— Папа? Ушёл?

— Не кричи, он ушёл сам. Он сказал, что ему с нами будет очень трудно... Это болезнь. Это чеченский синдром... Они не живут в семьях, понимаешь? Как тебе объяснить... Контузия, понимаешь?

Но я уже отшвырнула портфель и была далеко, внизу, у дверей на лестничной клетке.

Я искала отца в военкомате, у начальника дивизиона, в штабе и в деревне. И на следующий день, и потом...

Подружка Ленка Шварц рассказывала мне, будто видела его в городе. Его или очень похожего на него.

Мать собирается отправить меня к бабушке в Подмосковье.

Во сне я часто вижу его. Вижу, как одиноко и больно идёт он по тротуару города. Ведёт его собака-поводырь — единственная живая душа, оставшаяся с ним.

Он идёт медленно, высоко поднимая голову, с палочкой, тонкой-тонкой и белой, какие рисуют на иконах в руках святых. Идёт и выстукивает себе свободный путь. И пузырьком надувается от ветра его белая шёлковая рубаха...

И тогда я реву в подушку и шепчу сама себе: «Папочка, папа, вернись. Я хочу быть твоей... собакой».